

*čersa: рус. чѣреса ж. 'поясница': Ох у мене и пость череса, поеть, а как яду вмажешь, так сразу легче чересе-то (Новосиб. словарь 584).

Форма ж. р. čersa в соответствии с праслав. *čersъ 'пояс', значение как в слове *čerslo 'поясница, чресла'.

*čety: укр. чать 'береговая линия при разливе' (Полесск. этнолингв. сб., 185). Имя сущ., производное от глагола *četi, čьny. Значение 'край, конец', ср. *konъ.

*debrъ: рус. дѣб в сравн. о твердой, неподвижной массе; дѣба 'плохая, неплодородная земля', то же, что дѣб (Смоленск. словарь 3, 110—111). Наличие -'o в слове не позволяет нам реконструировать это слово как *dēbъ. Можно предположить, что прилагательное *debrъ продолжает и.-е. *dheb- 'крепкий'. Этот корень оглажен в праслав. *debelъjъ. Значение 'твердый, крепкий' → 'неподвижный' хорошо объясняет выражение сидеть дебом 'спдеть неподвижно' и глагол *debēti 'спдеть неподвижно', 'подстергать' (ЭССЯ 4, 203).

*dobnъ: рус. дон 'очень много, в изобилии' (Смоленск. словарь 3, 181). Наречие, возможно, от гипотетического прилагательного *dobnъ, ср. *dobrъ.

Л. Г. Невская

К СЕМАНТИКЕ ПЕСТРОГО В БАЛТО-СЛАВЯНСКОМ

В специально проделанных опытах по определению семантического объема и связей лексем, используемых для обозначения пестрого в балто-славянском языковом ареале¹, обращалось внимание на маркированность этого признака, относящего определяемым им денотат в ряд предметов, обладающих особыми — преимущественно негативными — свойствами. Выявившаяся соотношенность собственно языковых фактов с такими явлениями духовной культуры, которые относятся к самым существенным пластам балто-славянской мифопоэтической традиции, позволяет, пожалуй, уже сейчас заключить, что пестрота входит в разряд конструктивных концептов, определяющих балто-славянскую модель мира.

Основное внимание в настоящих заметках будет сосредоточено на лексемах, в семантическом отношении на один шаг отстоящих от уже рассмотренных: лит. *margas*, с.-хорв. *шапен* и отчасти рус. *пестрый*, а именно на лит. *rāibas*, *rāimas*, *rāinas*, *rāivas*², лтп. *rāibs*, рус. *рябой*³ (и некоторых славянских параллельных формах), лтп. *kēršas*, *drūžas* и нескольких периферийных обозначениях пестрого и рябого. Семема 'сочетание разных цветов', в основном определяющая значение этой группы слов, в отличие от семемы 'сочетание черного и белого', лежащей в основе слов первой группы, семантически менее определена, что приводит к отсечению части семантически противопоставленных концептов. Однако семантическая близость обуславливает диффузию значений, главным образом

за счет снятия строгого противопоставления 'черное — белое' и приобретение значения 'многоцветный, разноцветный' лексемами типа лит. *margas*.

Первоначально интуитивно выбранный путь по осознанию семантической структуры описываемой группы слов «извне», через особый класс текстов, здесь становится сознательным приемом анализа, который и будет строиться на постоянном — но по необходимости выборочном — обращении к фольклорным, мифологическим и т. п. текстам.

В кругу денотатов, в балто-славянском осознаваемых как пестрые / рябые, прежде всего следует указать рогатый скот. При этом две балтийские лексемы *margas* и *raibas*, используемые при его номинации, ареально распределены таким образом, что эта чрезвычайно продуктивная, реализуемая в многочисленных фонетических, словообразовательных и под. формах модель, в литовском преимущественно реализуется посредством лексемы *margas*, а в латышском — *raibs* (*rainis*)⁴: *raibaļa*, *raibuļa*, *raibule*, *raibuļite*, *raibelīte*, *raibalīte*, *raibaļiņa*, *raibuļiņa*, *raibeļīte*, *raibele*, *raibene* (Mūlenbachs-Endzelins III, 465), а также *rāine*⁵ и *rainis* 'маленький / молодой бычок' (Mūlenbachs-Endzelins III, 467) при единичной литовской субстантивированной форме: *raibė* (LKŽ XI, 45). См. фольклорное: *Pavaicāju mīļai Mārai, kā būs saukt raibu guvi. Kura raiba — raibalīte (raibaļiņa)* (Mūlenbachs-Endzelins III, 467) 'Спрошу я дорогую Марию, как зовут пеструю корову. Которая пестра — *raibalīte*, *raibaļiņa*'; *Guotiņ, mana raibulīte, kas tev raibu raibināja?* (Там же, 468) 'Коровушка, моя рябушка, кто тебя изрябил в такую рябь?'

В славянских языках преобладают имена, образованные от **рьstr-*, типа польск. *pstroch*, *pestroch*, *pstrocha*, *pestrocha*, *pstrochule*, *pstrula*, *Bestrula*, *Pstrucha* (Karłowicz SJP V, 416), кашубск. *pstrox*, *pstroxa* 'пестрый вол, корова' (Sychta IV, 211); *bestrox*, *b'estroxa* (Sychta I, 36).

Такое многообразие номинаций рогатого скота как пестрого объясняется не только продуктивностью способа номинации и экспрессивностью словообразовательной модели. Оно находится в прямой связи со значимостью этого денотата в представлениях иных рангов, в частности, рогатый скот относится к основным концептам мифа о поединке Громовержца и его противника (происходящем именно за обладание скотом)⁶.

Связь номинации коня с пестротой редка: лтп. *raibaļa* 'пестрая лошадь': *raibaļa tikpat gauss kā viņa saimnieks pats* 'рябая лошадь также медлительна, как и ее хозяин'⁷. Типологически параллельно польск. *pstrok* (Karłowicz SJP V, 416). Однако для балтийского народнопозитического сознания характерно осознавать лошадь в связи с противником Громовержца. См. многочисленные литовские легенды о создании лошади из черта или ужа с помощью ореховой палки, розги, батога и о противопоставлении коня, отказавшегося перевезти Бога через реку, волу, быку, корове, исполнявшим его просьбу⁸.

Пестр еще один важнейший классификатор балто-славянской модели мира, являющийся одной из главных ипостасей противника Громовержца в основном мифе, — змея. Языковая связь змеи и пестроты проявляется как внутренняя форма ее эвфемистического наименования: лит. *rainoji* [субстантивированное прилагательное] 'рябая': *parusynėljē pamatė rainają* (LKŽ XI, 56) 'на опушке леса он увидел змею, букв. рябую'; лит. *kanāpinė* 'змея, червь' (LKŽ V, 196); к этому также см. «классификацию» змей, отдельные элементы которой сильно сближены в отношении мифопоэтической семантики: *gyvačią yr: kanāpinė, margoji, juodoji, girinė, moržinė* 'змеи бывают: рябая, пестрая, черная, лесная, мартовская' (Там же). Пестрота змеи как ее постоянное свойство закреплена в пословичных текстах: лит. *rainas kaip gyvatės kailis* (LKŽ XI, 55) 'пестр, как змеиная шкура'; лит. *čūska ir raibiga kustuonis*⁹ 'змея и пестрая кусается'.

Многосложно связанные в народном сознании, иногда вплоть до полного отождествления, змея и рыба как классификаторы нижнего мира¹⁰ часто и в языковой номинации обладают одинаковой внутренней формой и оказываются сближенными или даже омонимичными: в параллель к уже отмечавшимся в своем месте с.-хорв. *šaran* 'карип' и 'ядовитая змея' (RJA 72, 478) и др. можно указать также такие литовские названия рыбы, как *rainė, margė* 'рыба из породы карповых' (субстантивированное прилагательное) при *rainoji, marginė, margūlė* 'змея', *raibuolis* 'окунь' при *margūlė* 'змея'. Пестрота — постоянный эпитет щуки и других рыб, в фольклорных текстах предстающих как посмертное воплощение души: *Ši margoji lydekėlė būt man buvus motinėlė. . . Šis margasis ešeriukas būt buvusis man broliukas*¹¹ 'Эта пестрая щука — моя бывшая матушка. . . Этот пестрый окурек — мой бывший братец'; *su raibaisiais lydekėliais* и т. д. Признак пестроты мотивирует внутреннюю форму таких ихтиологических имен, как лит. *dryžonytė=rainė* 'карип' (LKŽ II, 734), польск. *pstrąg* 'рыба лососевых пород' (Karłowicz SJP V, 415) и др.

И, наконец, собственно противник Громовержца — черт именуется пестрым, рябым — *rainasis: ką čia šioks toks rainasis, juodasis, nia — i pavarė arklius* (LKŽ XI, 55) 'тут такой-сякой, пестрый, черный, ну и погнал коня' (негативная семиотическая значимость пестрого подчеркивается здесь синонимическим использованием двух эвфемистических наименований черта — 'пестрый' и 'черный'¹²; лит. *raināpilkis* — еще одно переносное обозначение черта, букв. 'пестросерый'.

Пестрота — постоянный, а в мифологических контекстах и неотъемлемый (в чередовании с черным, семиотическим эквивалентом пестрого) признак кота (кошки), являющегося одной из ипостасей противника Громовержца в основном мифе. К уже указанным в своем месте наименованиям типа лит. *katinas marguikas, katelis marguolis*, рус. *котики-марготики*, с.-хорв. *šaruča, šarka* и т. п. можно прибавить еще несколько примеров связи кота с идеей пест-

роты преимущественно в фольклорных текстах: литовская аппозитивная форма, используемая в песнях *katinėli rainynėli* (LKŽ XI, 56) (см. аналогичное укр. *oi tu, kote-rybku!* — Гринченко IV, 91), постоянный эпитет кота в латышском фольклоре *rains kaķis* (иногда считается заимствованным из литовского, см. Mülenbachs-Endzelins III, 470), а также «дублирование» признака пестроты в лит. *katinas rainmārgis* (LKŽ XI, 56); субстантивированная форма *rainius* 'пестрый кот' (Там же); кот определяется как пестроглазый *katinėlis rainakėlis*; наконец, в загадках кот загадывается через признак 'пестрый': *Ievutė kalniuota, lazdelė rainuota* (LKŽ XI, 57).

Некоторые, впрочем скудные, примеры указывают на связь пестроты с собакой (к этому см. этимологическую соотнесенность рус. *пес* и *пестрый* — Фасмер III, 248), в тексте основного мифа находящейся в сфере противника Громовержца: *šunaitis buvo raino plauko, ir vadino rainėklis* (LKŽ XI, 57) 'собака была рябой масти и называлась рябая', см. к этому кличку собаки в украинском: *Як Рябка годують, так Рярко її гавка* (Гринченко IV, 91), а также аппозитивную конструкцию *сучка-рябушечка* (Там же, с. 92).

Пестрота птицы стала языковым стереотипом пестроты вообще: лит. *raibs kà dzenis* 'пестрый как дятел', лит. *genys raibas (margas) — sviels dar margesnis* 'дятел пестр, мир еще пестрее'; *raibas pilkas karvelėlis — degūlė raibėsnė, meilūs tėvas, meilū motkà — mergėlė meilėsnė*¹³. Однако, как уже отмечалось в другом месте¹⁴, пестрота птицы — это тот признак, который относит ее в разряд классификаторов с негативным смыслом. Птицы, в балто-славянской культурной традиции считающиеся пестрыми / рябыми (лит. *raibiapaikštė*), как правило, маркированы именно таким образом. В первую очередь здесь следует отметить кукучку, в фольклорных текстах сопровождающуюся постоянным эпитетом пестрая / рябая, а также заключающую этот признак как основание внутренней формы: *raibuonėlė: Liūdnai raibuonėlė ant šakos kukuoja. Čiagi našlaitėlė verkia ašaroja* (LKŽ XI, 46) 'грустно кукушечка, букв. пестренькая, на ветке кукует. Тут же спотинка обливается слезами'; см. также другие субстантивированные формы: *raibūnėlė, raibūtė*. Кукушка осмысливается в постоянной связи с потусторонним миром смерти и мрака, как одно из посмертных воплощений души: *. . . o ši trečioji, raiba gegelė — tai mano seserėlė*¹⁵ 'а та третья, рябая кукушечка — это моя сестричка'; *tai aš nusieisiu į žalią giręlą, ten aš pasi-versiu raiba gegužele* (LKŽ XI, 44) 'пойду я в зеленую рощицу, там превращусь я в рябую кукушечку', как предсказательница судьбы, продолжительности жизни и т. п. В литовском языке пестрота кукушки мотивирует внутреннюю форму прилагательного *gegužėtas* 'рябой': *O kas pilkas, gegužėtas? — O gegutė, toj pilkoji, ana pilka, gegužėta* (LKŽ III, 202); *nedraskyk paukščių lizdų, paliksi gegužėtas* 'не разоряй птичьих гнезд — станешь рябым' и входит в состав сложного слова с «дублированным» признаком пестроты в основе:

gegūžraibis: *buvo toks gražus gegūžraibis gaidžiukas* (LKŽ III, 203). Другие птицы, также осознаваемые как пестрые, входят в класс мифологизированных существ, обладающих функцией моделирования отношения доброе — злое / благоприятное — злокозненное по отношению к человеку¹⁶, преимущественно в негативной части оппозиции: лтш. *raibala* 'сорока' (Mūlenbachs-Endzelins III, 467), лит. *raimas vanagas* 'пестрый ястреб', болг. *гарябичарь* 'сокол', польск. *sowa jarzębata* и под., наконец, *sakalėlis raibužėlis* и *raibas sakalėlis* 'рябой соколик' литовской погребальной причеты как вестник смерти, аналогичный русскому *птица подземельная*, используемому в одинаковых контекстах.

Мифологически многофункциональные петух и курица¹⁷ особую значимость приобретают с введением цветового классификатора¹⁸. См. к этому свидетельство, относящееся к балто-славянской культурной традиции: [bóg] Lituvainis ktory defszcz spuszcza | temu [Litwini] rozmáitey bárwy kurzyce białe | czarne | iarżebáte ofiarowali (Sł. Polszcz. XVI w., IX, с. 226), а также жертву пестрых молодых кур литовскому богу Раугупатису¹⁹. Пестрота является неотъемлемым свойством петуха и курицы для литовского языкового сознания, что выражается в широком употреблении субстантивированных форм: *kad jūs, raibiai, negiedotut, naktelė ilgėty* 'если бы вы, рябые, не пели, ночь бы длилась'; лит. *kanapėtė* 'пестрая курица' (LKŽ V, 196), антитезисных конструкций типа *gaiduliai raibuliai* и т. п. См. к этому же укр. *курка-рябуха, курочка-рябушечка* (Гринченко III, 92) и рус. *курочка-ряба* и связанные с ней космогонические представления²⁰.

Разноцветность, пестрота в качестве детерминированы его технологией, использованием ниток разного цвета: лит. *rainėlė, rāinis, rainuota* 'пестрая (домотканая) ткань' (LKŽ XI, 55, 57), лтш. *raibe, raibene, rāibe* 'пестрое сукно', *raibes* 'полосатая, пестрая юбка' (Mūlenbachs-Endzelins, III, 467), *rāibaūdėkls* 'пестрое полотно, одежда' (Там же), а также лтш. *raibulis* 'узор на ткани', *raibumėns* 'в разноцветных узорах'²¹, лит. *dryžinys* 'пестрядь' (LKŽ II, 734) и др. Однако и в этом случае совмещение двух маркированных в народно-поэтическом сознании семантических сфер — ткачества (наряду с прядением, шитьем, плетением) с его негативными ассоциациями²² и пестроты взаимно усиливает друг друга. Косвенным свидетельством особого характера слов гнезда *rai-* является использование их в качестве десемантизировавшегося постоянного эпитета в фольклорных текстах²³.

С идеей пестроты стойко ассоциируется представление о зыбкости, неуверенности, неверности, лживости²⁴, манифестируемое большинством соответствующих балто-славянских лексем: *ant keršo žirgo būti; keršais žirgais joti; sėdom kaip ant keršo žirgo* (LKŽ V, 622) — о состоянии неуверенности, сомнения; укр. *рябої кобилі сон* 'о чем-то пустом, нереальном'²⁵; текстуально совпадающее в литовско-польском ареале *pono malonė keršais arkliais jodinėja* (LKŽ V, 622) и кашуб. *pańska łaska na bestrim końu jezzi* (Sychta I, 36), ср. близкое

с.-хорв. *u našego bana sarovita pravda*. Аналогично передается состояние физической или психической неустойчивости и беспамятства, а также глупости: *pstro w głowie, pstroglowiec* 'о глупом человеке' (Karłowicz SJP V, 415), лтш. *tev acis ir raibas* (Mūlenbachs-Endzelins III, 468) 'ты пьян', *raibajā but* 'быть пьяным', ср. лит. *negerk daugiau, jau ir taip akys dryžos* (LKŽ XI, 734); лит. *raivaliulis* 'чувствовать себя в беспамятство, дремоте от слабости' (LKŽ XI, 86) и заимствованное из литовского в польский *margać* 'едва дышать', *ledwo marga* 'о человеке при смерти' (картотека Словаря польских говоров), ср. польск. *pstrzyć* 'едва гореть': *lampka ledwie się już pstrzy* (Karłowicz SJP V, 416). Наконец, языковые элементы типа лит. *keršai margai* 'кое-как' и польск. *pstro* 'приблизительно': *do Pragi będzie ze sto mil, pstro rachować* (Karłowicz SJP V, 415) придают заключающему их высказыванию ту же модальность приблизительности, неопределенности.

Подводя общие итоги рассмотрению семантической структуры корпуса лексем, манифестирующих в балто-славянском языковом ареале представление о пестроте, следует отметить параллелизм не только их основных депотативных значений, но и разнообразных коннотаций, важнейшая из которых состоит в том, что в особом классе текстов признак 'пестрый' (независимо от того, лежит ли он в основе внутренней формы слова или является атрибутом в словосочетании) относит определяемый им предмет в разряд объектов, обладающих особыми, преимущественно негативными свойствами.

Примечания

- ¹ Невская Л. Г. Лит. *margas* (семантические связи постоянного эпитета). — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984, 130—136; Она же. К типологии пестрого в балто-славянском. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии... М., 1986.
- ² Примеры подобного суффиксального чередования как в пределах балтийских языков, так и в других индоевропейских, см.: *Ademollo Gagliano M. T. Il lituano margas e i suoi sinonimi*. — IF, 88, 1983, 252.
- ³ При исключительном внимании к типологии семантических процессов вопрос об этимологической тождественности указанных литовских и русских лексем здесь не затрагивается. Во всяком случае, Фр. Славский (*Sławski J.*, 507) и М. Т. Адемолло Гальяно (*Ademollo Gagliano M. T. Op. cit.*, 254—255) не считают ее безусловной.
- ⁴ Отношение дополнительного распределения в функционировании лит. *margas* и лтш. *raibs* см. также: *Ademollo Gagliano M. T. Op. cit.*, 256.
- ⁵ *Endzelins J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mūlenbacha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, 1940, XV, 351.*
- ⁶ См.: *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974 и другие работы этих авторов.
- ⁷ *Endzelins J., Hauzenberga E. Papildinājumi...*, 350.
- ⁸ *Balys J.* Lietuvių liaudies sakmės. Kaunas, 1940, 55—62. О связи коня с нижним миром и хтоническими демонами в сербо-хорватском народном представлении см.: *Кулиш Ш., Петрович П., Пантелић Н.* Српски митолошки речник. Београд, 1970, с. 170.
- ⁹ *Endzelins J., Hauzenberga E. Op. cit.*, 350.
- ¹⁰ *Успенский Б. А.* Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982, 146.
- ¹¹ *Lietuviškos dainos / Užrašė A. Juška. Vilnius, 1954, t. III.*

- ¹³ Типологически параллельно румынское название дьявола *Pistruelul*. См.: Цивьян Т. В. Змея-птица: к истолкованию тождества. — В кн.: Фольклор и этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984, 50. Здесь же о пестроте как постоянном атрибуте «превращенной змеи» — птицы, саламандры, козы и т. п., вплоть до *Petru pistrițu* 'пестрый Петр' в румынской заговорной традиции.
- ¹⁴ Druskininkų dainos / Užrašė J. Balčikonis. Vilnius, 1972, 22.
- ¹⁵ Певская Л. Г. *Инт. margas...*, 132.
- ¹⁶ Lietuviškos dainos... 153.
- ¹⁷ Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965, 190.
- ¹⁸ Успенский Б. А. Филологические разыскания... особенно об участии петуха и курицы в похоронах противника Громовержца (86).
- ¹⁹ Топоров В. Н. Петух. — В кн.: Мифы народов мира. М., 1982, II, 309—310. О противопоставлении черного и светлого петуха как манифестантов оппозиции вода / огонь специально см.: Иванова Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские... семиотические системы, 151—152.
- ²⁰ В. И., В. Т. Раугулатис. — В кн.: Мифы народов мира, II, 371.
- ²¹ Топоров В. Н. К реконструкции мифа о мировом яйце (на материале русских сказок). — В кн.: Труды по знаковым системам. З. Тарту, 1967.
- ²² Endzelins J., Hauzenberga E. *Op. cit.*, XV, 350.
- ²³ Успенский Б. А. Филологические разыскания... 176; Судник Т. М., Цивьян Т. В. К реконструкции одного мифологического текста в балто-балканской перспективе. — В кн.: Структура текста. М., 1980. См. также литовскую легенду о циклах человеческой жизни, поставленной в зависимость от работы пряхи и шести ее сестер, последняя из которых разрывает полотно, что приводит к смерти человека (Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 1983, 363).
- ²⁴ Об архаическом характере песен, в которых использован этот эпитет, упоминания в них древнелатышских мифологических персонажей (Dievs, Māra, Jānis и др.) см.: Rūķe-Draviņa V. *Beloruss. rojba, lett. raibe*. — *Zīsl*, 26, 1981, N 4, 555—557.
- ²⁵ О философском смысле пестроты как парусности единства, переходе к разложению и раздвоению, лукавству, лживости в ином контексте см.: Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984, с. 157.
- ²⁶ Удовиченко Г. М. Словник українських ідіом. Київ, 1968, с. 337.

II. Немец

РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЙНОГО ЯДРА СЛОВА ПРИ ЛЕКСИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ЯЗЫКА ДРЕВНЕГО ПЕРИОДА

1. К основным проблемам лексикологии и лексикографии относится раскрытие понятийного ядра слова, т. е. раскрытие концептуального значения или концептуального ядра лексического значения слова¹. Так как понятийное ядро слова является отражением отрезка действительности в сознании людей, пользующихся этим словом, эта проблема усложняется, когда речь идет о языке древнего периода. Специфическая проблематика исторической лексикологии заключается не только в том, что обозначаемые отрезки действительности (денотаты) в изучаемый период нередко были иными, чем сейчас, но и в том, что денотаты в тот период могли пониматься говорящими иначе, чем сейчас их понимаем мы. Многие

слова, оставаясь в течение своей многовековой истории идентичными по своей денотативной (предметно-вещественной) отнесенности, отличаются в древний период исторической эпохи своеобразным понятийным ядром своего значения (своеобразным психическим отображением денотата) по сравнению с более поздним этапом своего развития.

2. В чем чаще всего заключается различие между современным понятийным ядром слова и его ядром в языке древнего периода? Чем здесь определяются архаические дифференциальные понятийные компоненты? Эти характерные дифференциальные семантические компоненты связаны в первую очередь с верой в магию (2.1) и с древними астрономическими представлениями (2.2), с ограниченностью познания природы (2.3), а также с акцентировкой иных аспектов денотата (2.4).

2.1. Одним из центральных слов древнеславянской магии е с к о й терминологии является глагол *klěti sę*. Древнерусское *кляти ся* и др.-чеш. *klěti sě* в словарях объясняется как 'присягать, присягой что-либо подтверждать или отрицать; класться'². Однако понятие присяги здесь не совпадало с современным понятием. Об этом свидетельствует иное языковое оформление понятийного содержания этого слова, проявляющееся в его архаических синтагматических (2.1.1) и парадигматических (2.1.2) связях с другими словами языка того периода.

2.1.1 Др.-чеш. устойчивое синтаксическое словосочетание *klěti sě a přisahati* (Gebauer I, 48) указывает на то, что *klěti sě* не было тождественным с *přisahati* 'iurare', и тот же возвратный глагол в ст.-слав. и др.-рус. языках имеет дополнения, функцию которых исторические словари не объясняют: например, *klěti sę glavoję svojeję* (Зогр и Мар, Мт 5, 36), *кляти ся оружьем своимъ и Перуномъ* (СлРЯ XI—XVII вв. 7, 193). Что здесь, собственно, означают творительные падежи *glavoję svojeję* и *оружьем своимъ и Перуномъ*? Было ли это действительно только средство, подкрепляющее правдивость уверения ссылкой на нечто или упоминанием чего-либо ценного, как это объясняется в лексикографических описаниях современного понятия присяги?³

2.1.2. Парадигматические связи указывают, что здесь форма творительного падежа имела иную функцию. Если мы сравним возвратный глагол *klěti sę* в древних языках с соответствующей основой без *sę* — *klěti* и ее производными (*klětva*, *proklěti* и др.), то нам представляется наиболее правдоподобным, что и возвратному глаголу еще в начале исторического периода был присущ общий архаический компонент проклятия, т. е. компонент наказания, призванного магической силой слова. Следовательно, творительные падежи *svojeję glavoję*, *своимъ оружьемъ и Перуномъ* и т. п. в данном случае скорее касались некоторых подробностей наказания давшего клятву и нарушившего ее. Такая интерпретация отвечает структурному значению словосочетания *klěti sę čimъ / sěmъ* 'призывать на себя проклятие-наказание, совершенное посредством чего или кого'⁴.